



несерьезно
о серьезном

Василь Ткачев



На все село
один мужик

Несерьезно о серьезном

Василь Ткачев

На всё село один мужик (сборник)

«Четыре четверти»

Ткачев В. Ю.

На всё село один мужик (сборник) / В. Ю. Ткачев — «Четыре четверти», — (Несерьезно о серьезном)

ISBN 978-985-7103-18-8

В новую книгу известного белорусского писателя и драматурга Василя Ткачева вошли его лучшие рассказы. Они – о тех, кого в народе называют чудиками и без кого, считает автор, не такой интересной была бы наша жизнь. Герои писателя – простые люди, все они несут в себе свет доброты и верности родной земле. Кто-то из критиков назвал Василя Ткачева мастером сюжета, в чем нетрудно убедиться, прочитав эту книгу.

ISBN 978-985-7103-18-8

© Ткачев В. Ю.
© Четыре четверти

Содержание

Суд	6
Улица Бабушкина	9
Высочка	14
Колька, курица и бабка Антося	18
Перекур	22
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Василь Ткачев

На всё село один мужик

Рассказы

© Ткачев В. Ю., 2016

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2016

Суд

На дачном участке у Сазончиков заметно выделялось одно плодовое дерево – груша бэра. Словно царица, красовалась она. Налившиеся соком, аппетитные желтобокие плоды манили глаз каждого прохожего особенно в конце лета. Дерево было не только высоким, но и с широкой разлапистой кроной. И что интересно, оно не переставало расти, тянулось и тянулось вверх, словно боялось уступить первенство в саду. Однако куцые яблони и не думали соревноваться с грушей, жили сами по себе. Но как бы там ни было, однажды осенью жена посмотрела сперва на грушу, потом на Сазончика и заявила мужу властно-требовательно:

– Надо обрезать сучья! Видишь, сколько их там ненужных? Я бы сама залезла, но...

Муж сразу же, зная ее нрав, воскликнул:

– Что ты? Что ты? Я сам, сам!.. Сделаем в лучшем виде, дорогая!..

– Хвалю за сообразительность!

Вскоре мужчина принес лестницу и ножовку, еще раз отметил взглядом те ветви, которые нацелился спилить, и попросил жену, чтобы держала лестницу.

– Да смотри, чтоб не брякнулся! – строго предупредил Сазончик. – А то будет сюрприз! В мои годы только и лазить по деревьям, по правде говоря... – И вдруг спасовал, как-то сильно уж жалостливо посмотрел на жену: – А может, подождем, когда Павлик приедет? Сколько уж тут осталось до выходных? Каких-то два дня... А? День туда, день сюда – что он даст?

Жена, как всегда, когда что-то было не по ней, безнадежно махнув рукой, отвернулась и сделала вид, что собралась пойти прочь, и произнесла хорошо известные мужу за долгую совместную жизнь слова, которые имели глубокий смысл:

– Я так и знала!..

Муж, виновато склонив голову, скрестил на груди руки:

– Лезу, лезу, лезу!..

С оханьем и аханьем он наконец-то очутился на дереве, а супруга тотчас убрала лестницу. Сазончик, хоть и обратил на это внимание, не придавал особого значения: убрала так убрала, придет время – приставит... Спихнулся он значительно позже, когда обрезал все ветви, на которые, запрокинув голову, тыкала пальцем жена.

– Ну, ставь лестницу, буду слезать.

Довольный тем, что угодил жене, да и потрудился с пользой для общего семейного дела, Сазончик посмотрел вниз, на женщину. К его удивлению, та и не думала выполнять его просьбу.

– А посиди, голубчик, там, – неожиданно для него промолвила супруга. – Посиди, посиди.

– Хватит шутить! Мне же тут, на дереве, неудобно! Ноги дрожат от напряжения. Ты слышишь, Маруся?

– Нет, я не слышу, я глухая!

– Да что это с тобой?!

– А ты вот сам подумай, что со мной... Молчишь, а? Почему набычился, как незнамо кто? Вот что я тебе скажу, дорогой: веточки, конечно, мог обрезать и Павлик, не в них дело. Мне важно было тебя запереть на это дерево. Тебя. Понимаешь? И убрать лестницу. А без нее ты никогда не слезешь с груши. Поэтому сразу ставлю вопрос ребром: как только признаешься, что твой сын растет у соседки, тогда поставлю лестницу обратно. Ну, говори!.. Признавайся!.. Я жду!..

Сазончик никак не ожидал такого поворота дела. Он смерил жену виноватым взглядом – с ног до головы, почесал за ухом, а потом посмотрел на ножовку, покрутил в руках, словно старался найти какой-либо изъян.

– Ну, что молчишь? – напомнила жена. – Где не надо – ты герой, на первом плане, передовик, а тут, гляньте вы на него, язык проглотил. Ай-я-яй! Погляди, погляди мне в глаза, бабник!

Жена распалась не на шутку, и, зная ее принципиальность и неуступчивость, Сазончик почувствовал, что дело швах: придется на дереве действительно сидеть до посинения. Все же он наконец оторвал взгляд от ножовки, поглядел на жену. Та приняла воинственный вид: стояла руки в боки, широко расставив ноги – сама непрístupность.

Куда бы ее, эту ножовку, подевать? Надо, видать, уронить на землю – ручкой книзу, чтобы не повредить. Так и сделал. На что жена резонно заметила:

– Ну, а теперь давай сам вслед за ней! Давай, давай! Сигай! Другого выхода у тебя, разлюбезный мой, нет!..

Конечно, нет. Кто бы спорил? Сазончик посмотрел вниз, жена и не думала уходить: стояла, как вкопанная, в той же позе. Он тяжело вздохнул и горестно подумал: «Вот попался так попался! И зачем я согласился лезть на эту грушу? Не дурак, а? Мог бы допереть, что тут что-то нечисто. Но все мы, мужики, умные задним числом. Если бы не больные ноги, то как-нибудь сполз бы на землю. Прыгнешь – коленки совсем развалятся, тогда будет делов... Артрит проклятый!»

Сазончик видел, как жена спряталась за углом сараюшка, и только теперь заметил, что отсюда, сверху, она совсем маленькая, будто девочка. «Зато гонору – уго!» Он наконец подобрался к толстому и гладкому суку, кое-как сел. В это время вернулась с табуреткой жена, тоже села. Она – вы только гляньте! – прихватила и свою очередную блестящую книжку про любовь. Читает! Как все равно летом на лужайке: пасет выводок цыплят, а заодно почитывает и одним глазом следит за ними... Ну, не издевательство ли это?!

Сазончик попробовал начать разговор:

– Что там пишут?

Жена словно и ждала этого:

– А про таких, как ты, и пишут!..

– А-а, понятненько. Ну-ну. Так что, мне так и сидеть?

– Я же сказала, кажется? Лестница никуда не денется. Стоит вон. Тебя ждет.

– Да не моя работа, не моя! – начал оправдываться, как это делал не раз, только в привычной обстановке, муж.

– Тогда сиди, если не твоя!

– Подай лестницу, слышишь? – взмолился Сазончик. – Не могу больше терпеть тут, на груше. Упаду. Свалюсь. Тебе что, одних похорон мало? – Он имел в виду тещины. – А? Теперь, между прочим, похоронить человека – ого!..

Жена огрызнулась:

– Такого человека, как ты, похороним без особых трат. Доски имеются на чердаке. Мужики за бутылку ямку выкопают и опустят в нее. А плакать я не буду. И не думай!.. Во, забыла: оденем тебя в тот костюм, в котором ты на заводе гайки закручивал в комбайнах. Больше ты недостоин.

«Что же придумать? Чем взять ее?» – кумекал Сазончик, свесив ноги и изредка болтая ими, чтоб не так затекали. А к жене обратился:

– Ты знаешь, в чем семейная идиллия?

– Не заговаривай зубы! Только чистосердечное признание!..

– Это когда жена говорит мужу: иди, дорогой, выпей сто граммов. А муж: сейчас, любимая, только пол домою... – и Сазончик громко захохотал, но жену и это не проняло, хотя в другой раз она бы обязательно рассмеялась, ведь юмор понимала. – А хочешь, и я пол помою? Нет? Неделю мыть буду! Месяц! Все время – хочешь?

– Не заговаривай мне зубы. Ты вообще-то напоминаешь мне ворону из басни Крылова... Может, тебе ломоть сыру вынести?

– Да пошла ты! – Сазончик махнул рукой и отвернулся.

Тем временем по небу плыли маленькие серые тучки, собираясь в одну большую и черную над головой Сазончика, и он не на шутку встревожился: «Сейчас саданет так, что живого места на тебе не останется. А она, видите ли, почитывает себе. Ну и характер!» Сазончик не выдержал, крикнул:

– Мымра-а!..

Жена не отозвалась, только взглянула на него равнодушно, запрокинула голову вверх, а потом сразу же заторопилась – сложив книгу, встала, подхватила табурет – и была такова.

– Пропал! – крикнул вслед Сазончик. – Как есть пропал!..

И тут его внутренний голос сказал: «А ты признайся. Твой или не твой ребенок, а скажи – твой, и все дела. Разве трудно? Скажи – и ты будешь на земле, на своих, хоть и больных, ногах. Что за проблема сказать? Смотришь, и жене легче станет... Угодишь ей... А если откровенно, Сазончик... Если, положи руку на сердце, твоя работа – сынок у соседки по даче? Твоя, твоя!.. Мне не возражай, я же знаю, я все вижу, разлюбезный мой. Не отвертись. Мне можешь и не признаваться. А жене – скажи. Что тут страшного? Ты же нигде ничего не украл, ты же доброе дело сделал... Осчастливил женщину – это первое, и дал жизнь человеку – это, брат, второе... Тебя расцеловать надо, а ты на дереве сидишь, страдаешь... Кричи, кричи жене: да я это, я!.. Ты же счастливый человек, Сазончик!.. Еще какой счастливый!.. Просто ты про это сам не знаешь...»

Поднялся ветер, расшатал грушу, и Сазончик мертвой хваткой вцепился в её ствол. Потом сыпанул словно из ведра дождь. Мужчина вдруг почувствовал, что больше так не выдержит – вот-вот упадет на землю, брякнется так, что останется от него одно мокрое место. Все же, прислушавшись к внутреннему голосу, Сазончик крикнул в ту сторону, где исчезла жена:

– Моя!.. Моя работа!.. Моя!.. Ты слышишь, Маруся?.. Моя работа!..

И тут он увидел, как сынишка соседки приставил лестницу к груше – и как только дотащил, совсем же мал, – и, задрав вверх голову, предварительно оглядевшись по сторонам, радостно скомандовал:

– Слезайте, дядя!..

Сазончик и сам не помнил, как очутился на земле. Ноги сильно затекли, и он не сразу сделал шаг, второй. Но ему хватило расстояния, чтобы прижать к себе мальчика, погладить его мокрую голову.

– Спасибо, сынок... Большой расти...

И только когда он повернулся в сторону своего дома, увидел жену, которая стояла под дождем и отрешенно смотрела на них обоих.

Улица Бабушкина

У него действительно такая фамилия – Бабушкин. Только, в отличие от известного революционера, он был не Иваном Васильевичем, а Петром Михайловичем, среди друзей и близких у него было еще и прозвище – Почтальон. Откуда оно, это прозвище, взялось, спросите? Все очень просто: в свое время, когда Бабушкин жил в деревне, он работал несколько месяцев почтальоном, о чем особенно любит рассказывать каждому встречному. И хотя уже давно городской житель, прозвище сохранилось: Почтальон да Почтальон. И Бабушкин не сердится. «А что? Первая профессия – она с тобой навсегда. Приятно вспомнить: вот жизнь была – газеты и письма разносить! Легче легкого!..»

Теперь Бабушкин уже на пенсии. До этого работал на заводе электриком, и поэтому от нечего делать иной раз просто ходит по двору широким шагом, заложив руки за спину. Словно начальник, придирчиво осматривает близлежащую территорию. Иногда ему предлагают войти в складчину, и тогда мужчины распивают в беседке бутылку-две вина, рассуждают о жизни.

– Бабушкин, я сегодня на твоей улице был, – посмотрел как-то на Петра Михайловича сосед Игнатович. – Там мой кум дом купил. Смотрю, и правда, на прибитой к стене дома вывеске написано: улица имени Бабушкина. Ты что, может, и не знаешь, что твоим именем назвали улицу?

Петр Михайлович лениво отбивается:

– Да слышал, слышал! Как не слышал?.. Радио, кажись, тоже слушаю!..

– И не признается, мужики! – довольный своим розыгрышем, окинул взглядом присутствующих Игнатович. – И чего, думаете, молчит, не признается?

– Понятное дело!..

– Чтоб не проставлять!

– Ценю за находчивость! – подытоживал разговор Игнатович. – Так что будем делать, Бабушкин? А? Почему молчишь, жадина? Магазин, кстати, вон рядом, вон!.. Он ждет тебя!..

Посмеялись, пошутили, на том и закончили. Уже чуть позже Бабушкин решил все же съездить на улицу Бабушкина, и хоть это не близко, за Сожем, где-то в частном секторе, – решил. Здесь, однако, оговоримся: если бы он опять не выпил стакан вина, возможно, его и не потянуло бы на ту улицу. Но – выпил и поверил, что она названа именно в его, Петра Михайловича, честь, а потому зазорно прожить жизнь и не побывать на улице, которой он пожертвовал свою фамилию.

– И не держите меня, и не отговаривайте!

«Улица Бабушкина», – объявил бодрый голос водителя автобуса.

– О, моя, моя улица! – оживился Бабушкин и важно посмотрел на пассажиров, которые на него не обращали никакого, конечно же, внимания, что даже немного возмутило, потому на этот раз он сказал более громко: – Моя улица!.. Бабушкина!.. Петра Михайловича!.. – и молодежато прыгнул на землю.

Автобус поехал дальше, а Бабушкин остался на остановке. Стоял и с удивлением смотрел по сторонам с видом начальника высокого ранга, который приехал на важный объект, а его никто не встречает. Непорядок, одним словом. Но не стоять же так все время. Бабушкин взглядом измерил улицу вдоль и поперек, а потом распростер руки, радостно и возвышенно произнес:

– Так вот ты какая, моя родная! Ну, привет, что ли? Вижу, неважные у тебя дела. Чем докажу? А тем, что богато домишек, а не домов – по обеим твоим сторонам – разместилось. А где коттеджи? Особняки? Ну, три-четыре я вижу. И это на моей улице?! Прости, однако! Это не ты, улица, виновата, а городские власти. Они, они, скажу тебе честно, недосмотрели, промахнулись. Могли б дать имя Бабушкина и улице в новом микрорайоне? Могли б! Около

Ледового дворца, например. Идут на хоккей ватагой болельщики и читают: о, так это же улица Бабушкина! Легче идти было бы. Я убежден в этом. Для Мазурова, для Чичерина и им подобным нашлись улицы в новом микрорайоне, а мне, получается, – шиш. Хорошо еще, что дорогу отремонтировали, рытвин нет... Места для остановки автобуса неплохо оснащены, сказать нечего... Подожди, так тут, по моей улице, кроме автобусов, ничего больше не ходит? Ну да. А где троллейбусы? Кто скажет? Где, где троллейбусы?

Настроение у Бабушкина совсем испортилось, когда он узнал, что на его улице нет ни одной точки, где можно было бы посидеть с бокалом пива или с другим, более крепким напитком.

– Конец света!..

Бабушкин сел на скамью и пожалел, что ничего с собой не взял. Как же – приехал в гости, и с голыми руками. Нет чтобы угостить малышню, что вон около дороги развлекается. Он бы насыпал им конфет в горсти и сказал: «Это вам от того дяди, дети, именем которого названа улица, на какой вы живете и теперь вот рыщете... или играете, так сказать, в бадминтон и в мячик. Ах, вы не верите? Вам что, паспорт показать? Так смотрите, смотрите!..» Бабушкин даже вообразил, как дети прилипли к карточке в его паспорте, а более взрослые читают: Бабуш-кин! Что, получили?!..

Тем временем подъехал очередной рейсовый автобус, из него вышел всего один человек, мужчина средних лет, щуплый, в светлой сорочке с длинными рукавами и в черной бейсболке, козырек которой находился над ухом, и направился в сторону Бабушкина. Поскольку человек тот шел неуверенно, Петр Михайлович поднялся, подал команду:

– Стоять!

Человек замер, не понимая, зачем и кому предназначался этот приказ, показывая на себя пальцем и не сводя глаз с Бабушкина, спросил:

– Вы... мне?

– Тебе, тебе!

– В чем, собственно говоря, дело?

– Как ты идешь по моей улице? Какими шагами? – Бабушкин приблизился к растерянному мужчине. – Ты где находишься?

– В чем, собственно говоря, дело? – опять повторил вопрос человек с неуверенной походкой. – Ты кто? Не милиционер, случайно?

Бабушкин поднес, как и мечтал недавно, посматривая на детей, паспорт к лицу незнакомца, приказал:

– Читай! Фамилию, фамилию читай.

– Ба-буш-кин, – послушно прочитал тот, икнул. – А я, может, Дедушкин? Х-хи-хи-хи-и!..

– Ты мне здесь шутки брось, – посоветовал Петр Михайлович. – А теперь иди сюда. – Он подвел его к дому, на стене которого была прикреплена вывеска с названием улицы.

– А теперь читай здесь...

Незнакомец опять икнул, протер глаза рукавом, не сразу прочел:

– Улица имени Бабушкина. – Он выдержал паузу, посмотрел на Бабушкина, на вывеску, улыбнулся. – Нет, здесь что-то не так...

– Все так, дорогой мой: ты стоишь на моей улице.

– Ёшкина мать!..

– А ты как думал, земляк? На улице Бабушкина!..

Незнакомец, автоматически быстро вытерев ладонь правой руки о брюки, подал ее Петру Михайловичу:

– Будем знакомы: Тузиков Павел Егорович. Тысяча девятьсот...

– Не надо, дальше можешь не говорить, – прервал его Бабушкин. – Так что строго тебя предупреждаю: больше в таком виде, как сегодня, чтоб я тебя на своей улице не видел.

– Как пить дать!

– Я дважды не повторяю. У меня, может, есть характер. Есть, есть, конечно же. Если бы я был слабаком, сарделькой, какой черт назвал бы моим именем улицу, а?

– Не говори!.. Кто б назвал?.. Так как, говоришь, тебя зовут? А, прости, прости: Бабушкин. Так я на твоей улице, оказывается, и живу. И не знал! Слово даю – не знал! Живу и живу себе спокойно. А тут, выясняется, есть, существует где-то и человек, на улице которого я осел? Вот он, перед тобой. Далеко ходить не надо. Дай я тебя поцелую!

Бабушкин отвел руки Тузикова с растопыренными пальцами, которые тот наставил на него, подальше от себя:

– Если бы я со всеми целовался, знаешь, что со мной было бы, а?

– Чудеса, однако!.. – не мог успокоиться Тузиков. – Вон мой дом. Пойдем, гостем будешь!

– Посмотреть, как люди живут на моей улице, надо. Чтобы иметь представление. Ну, тогда пошли!

– Жена как раз на второй смене. Она тоже была бы рада.

Вскоре они сидели за столом в передней, Бабушкин листал альбом, а Тузиков показывал пальцем, поясняя снимки. Перед этим он не побоялся оставить гостя одного в доме – а чего бояться, когда это вон кто! – и сбегал в магазин, принес бутылку водки. Поскольку денег у него не было, то их выделил Бабушкин. «Конечно же, именем бедняка улицу не назовут, – добродушно думал Тузиков по дороге в магазин и из магазина. – Вот повезло так повезло! Хоть раз!..»

Когда выпили по рюмке, Тузиков поинтересовался, какая у Бабушкина самая любимая песня. Тот сначала задумался, даже сморщил лоб, а потом ответил, будто отрезал:

– Я без гармошки не пою!

– А если балалайка?

– Так себе... Но не побрезгую, если будет хоть какой аккомпанемент.

– У соседа возьму! – пообещал Тузиков и улизнул из дома.

Пока он где-то бегал, Бабушкин посмотрел в зеркало, что висело на стене рядом со столом, сделал важный, серьезный вид и сам себе сказал: «А что, может, оно так и есть... Не знаю, кто тот Бабушкин, однако же, если брать по большому счету, какая разница – кто он, тот Бабушкин? Может, это улица всех Бабушкиных, которые живут на белом свете? В Москве, в Питере, в том же нашем Гомеле? В Америке, если уж на то пошло, а? Нате вам, Бабушкины, улицу! Нет, Петр Михайлович, ты родился в сорочке. А сосед, Игнатович, так и заявил: «Я, Петр, был на твоей улице». А ты, Игнатович, побудь на своей. Что, отхватил? Где она, твоя улица? В каком болоте? То-то же! И не каркать мне! Где, где вы видели улицу имени Филина? Имени Степана Игнатовича Филина? А моя – вот она, родная! Не беда, что пока не ходят троллейбусы. Пустим!»

– Кого «пустим»? – показался на пороге с балалайкой Тузиков.

– Это я про свою улицу. Пустим, говорю, и троллейбусы.

– Пустим! Обязательно! С оркестром! – тряхнул балалайкой Тузиков. – Гуляй, город!

Бабушкин поправил хозяина дома:

– Гуляй, улица Бабушкина. Прошу не обобщать. Кстати, и песню напишем. Я попрошу самого известного композитора...

– Лученка можно, – предложил Тузиков. – Он для нефтепровода «Дружба» вон какой гимн сочинил. Его, его возьмем за композитора.

– А слова сами сложим, – предложил Бабушкин. – Да, Павел?

– Как пить дать!

– Стукнемся! Пусть все слышат!..

– Кто лучше, чем мы, знает материал? Я здесь живу. Так? Так. Вон на том огороде... под грушей... моя пуповина зарыта, может быть. Или где-то рядом. А ты, Бабушкин, про свою улицу да чтоб не знал, какие слова придумать? Х-хе-хе-хе!..

– Найдем. Это все вторично, брат.

– Подожди, а что – первично? – Тузиков, как часто делал до этого, опять протер рукавом рубахи глаза: они у него почему-то слезились.

– Выпить надо, – признался Бабушкин.

– Так в чем дело?

– Наливай, – промолвил Петр Михайлович и почти прослезился. Еще немножко, и лицо будет мокрым.

– Что, что с тобой, брат Улица? – насторожился Тузиков.

– Потому и плачу, что очень хорошие люди живут на моей улице. От счастья.

– Здесь ты на все сто. Угадал. Лучших людей нет на всем белом свете.

– И это все благодаря моей улице! Она, как магнит, собрала вас в кучу. Ты веришь мне, Павел?

– Как пить дать!

– А еще плачу, что редко сам бываю на своей улице. Занят очень, государственных дел хватает. А хочешь, насовсем перееду сюда? Соседями будем – хочешь? Возьму и перееду? Кто запретит? О-го-го!..

– Дай пять!

Пожали друг другу руки.

– А это, кстати, идея. Голова еще варит.

– По тебе же видно, что не дурак.

– Хоть и прозвище у меня – Почтальон.

– Вот как, а!

– Не обращай внимания. После школы газеты и письма разносил. Меня почтальонская сумка и вывела в люди.

– Верю!

– Одному начальнику принес конверт, а он и давай интересоваться, кто я и что я. И посылает меня учиться на эле... Тьфу ты! На элеватор начальником. А потом и пошло-поехало. И закрутилось!..

– И пошло-поехало – вот как!.. Знай наших, однако!.. А Зинка на второй смене, змея!.. А у нас – праздник!.. Съела, Зинка? Получила?

– Я, Бабушкин, должен жить на улице Бабушкина. И только так. Все, решено: завтра переезжаю. Продаю свои апартаменты и покупаю здесь дом. Есть дом для меня?

– Найдем!.. Хе, проблема!..

Выпили за переезд, запели. Песня не пошла, поэтому некоторое время посидели молча. Бабушкин наконец вздохнул, помахал головой, положил руку на плечо хозяина дома.

– Я б добился, чтобы и твоим именем назвали какую-нибудь улицу в нашем городе. Вон сколько их, многоэтажек, возводят!..

– Добейся, друг! Век не забуду! Можно, я тебя поцелую?

– Потом. Не все сразу.

– Так в чем же дело?

– Не думай, у меня, где надо, свои люди есть. А как ты думал! Ого, люди!.. Однако же твоя фамилия – Тузиков – к улице никак не подходит. Ну, представь себе: висит вывеска, а на ней большими буквами написано: «Улица имени Тузикова». Кто такой? Откуда? Да и захотят ли люди жить на улице, которая носит такое собачье название? Подумай, Тузиков!..

– Хочешь, я фамилию жены возьму? У нее красивая фамилия – Потеруха. Как, а?

– Тогда это будет улица жены. А баб к таким серьезным делам допускать нельзя, а то наломают дров.

– Наломают! Как пить дать!.. Так как же быть, почтенный, а? Зуд какой-то у меня появился, хоть ты что ему!.. Не упустить бы свой шанс.

– Будем думать. Для чего у нас головы? Все, думаем!..

Тузиков сидел с очень печальным лицом. Бабушкин успокаивал его, а потом уснул. Проснулся он утром на диване. Поднялся, осмотрелся. Не сразу вспомнил, где находится, а когда разобрался, что к чему, тихонечко притворил за собой двери и потопал на автобусную остановку, боясь, что проснется Тузиков и бросится вслед за ним...

Он старался не вспоминать вчерашнее. Но как не вспомнишь, когда стоишь на улице Бабушкина – с другой улицы в город никак не въедешь: автобусы ходят только по ней...

Высочка

В больничной палате их было четверо: Петровна, привлекательная женщина, которая не скрывала своего возраста, а, напротив, не без гордости подчеркивала, что имеет семьдесят два года, и то и дело напоминала – к месту или нет – что ее муж подполковник в отставке и им выпала честь служить на известном космодроме Байконур; некогда симпатичная блондинка Валентина, да и сейчас еще вполне привлекательная и сексуальная, жена бывшего госслужащего, десять лет как на пенсии, больше читала книги в блестящих обложках про любовь и молчала; Анжелика, самая молодая из всех соседок, и хотя на ее смуглом личике появились первые морщинки, стройная фигурка выдавала ее за девчущку, было в ее облике что-то кавказское, о себе ничего не говорила вообще, большую часть времени проводила с подругами из других палат, ведь с теми, как выяснилось позже, нашла общий интерес: курили вместе на больничном двореке или где-то там. По ее возвращении в палату всегда чувствовался едкий запах табака; и деревенская старушка Стефановна, она чуток слаба была на уши и все время горевала, что ее дед не справится один с домашним хозяйством.

Каждая из женщин занималась чем-то своим: аккуратно ходили на лечебные процедуры, принимали таблетки, обсуждали поданные в столовке блюда. Другой раз кто-то из них скупой рассказывал о своей жизни. Так и проводили время несколько дней. Однако эта идиллия господствовала до того времени, пока не появилась на пороге одна дородная особа, с пакетом и сумкой через плечо, с густо накрашенными красной помадой губами. Она неподвижно застыла на какое-то время на пороге, а когда отыскала глазами незанятую кровать, та была аккуратно застлана санитаркой несколько дней назад после выписки ничем не приметной горожанки средних лет, с размаху опустилась на нее, тяжело вздохнув, затем проверила на прочность пружины и громко сообщила:

– Я – Татьяна Степановна Шабункова! Дважды не повторяю! Запомните! Сейчас я устроюсь, и мы познакомимся поближе.

Женщины сперва приняли ее слова за шутку, может, не совсем удачную и не к месту, но чем больше эта Шабункова хозяйничала в палате, тем меньше они понимали, что за человек подселился к ним. Была эта Шабункова примерно такого же возраста, как Валентина, круглолицая, пышногрудая, с короткими ногами, но на удивление живая и проворная: только успевай следить за ней – за какое-то мгновение она обшарила уже всю палату: что можно было, пощупала руками, ко всему примерилась глазами.

– Бабы, только признавайтесь: кто до меня лежал на этой кровати? – выкладывая в тумбочку принесенные из дома вещи, строго спросила новенькая, и, когда ничего не услышала в ответ, продолжила: – Может, покойница? Не так ли? А то как-то положили меня на кровать... не в этой больнице, правда, а потом узнаю, что на ней только что лежала умершая. Омерзительно. Некрасиво. Верите? Я, конечно, сразу же попросилась в другую палату: переводите – и никаких разговоров! Тему закрываем раз и навсегда! Мне такое счастье не нужно. Надо же додуматься – положить на кровать, где только что лежала мертвая!.. Вы за кого меня принимаете?

Петровна шевельнулась на кровати, та слегка скрипнула, и она тихо, с нескрываемой грустью заметила новенькой:

– Все живут и когда-нибудь умирают. И на кроватях также. В больнице ли, дома, неважно где. Мы все не вечные.

– Спасибо, а то я не знала, – сразу же нашла что ответить Шабункова. – Конечно, все там будем, но не станем торопить время. Что Бог даст, то и примем. Ну, с кого начнем? Давайте, давайте знакомиться, голубушки мои! – Она стояла уже посреди комнаты и поочередно смотрела на женщин, подбадривая жестами. – Давайте, давайте! Вижу, смелых нет?

Четверке постояльцев палаты Шабункова сразу же не понравилась, поэтому каждая из женщин старалась не показывать своей неприязни к ней и делала вид, что она вообще безразлична к ее какой-то слишком уж агрессивной и настырной активности, или, может даже, сказать попроще – к ее навязчивости. Но как бы там ни было, женщины поочередно назвались. Когда Шабункова посмотрела на Стефановну, та только разинула рот:

– А? Что? – и махнула рукой: мол, не знаю, о чем ты, девка, галдишь тут.

– Она плохо слышит, – подсказала Валентина – больше для того, чтобы не надоедала хотя бы старухе.

Шабункова улыбнулась, серьезно заявила:

– Нет таких людей, которые бы меня не услышали! Потом разберемся мы и со старушкой. Да, бабушка? Я правильно говорю?

– А? Что?

Новенькая поняла наконец-то, что от Стефановны действительно мало пользы, женщины правду говорят, потому надула щеки и посмотрела по сторонам, вроде не зная, чем заняться дальше. Однако тут же вспомнила:

– Фу-у, ну и где же наш доктор? Сколько можно его ждать? – И она опять опустилась на кровать, достала косметичку и начала прихорашиваться. – Поскольку он мужского рода и привлекательный на вид, надо встретить его чин чинном. Нет, голубушки мои, так дело не пойдет. Наблюдаю раздрай и полную неорганизованность в жизни нашей маленькой ячейки. Что будем делать? Разумеется что – устранять, любимыми средствами устранять эту принципиальную социальную несправедливость. Потому слушайте меня. Со мной не пропадете. Палату нашу ведет, значит, Сергей Ромуальдович. Я знаю этого человека... А как он вам?

– Хороший доктор, внимательный... – неубедительно промолвила Анжела, которая только что вернулась со двора и внесла в палату резкий запах табака.

Нюхнув его, Шабункова сморщилась, а потом, прикрыв рукой рот, бесцеремонно взяла Анжелу за ворот и выставила из палаты.

– Вон! – сказала. – Проветришься, тогда заходи! Здесь больница, а не уборная.

Вот тут женщины единодушно оказались на стороне Шабунковой, но вслух никто ничего не сказал. Все, видимо, с нетерпением ждали, что же будет дальше. Анжела не собиралась сдаваться: она сразу же, как только пришла в себя за дверью, опомнилась, прорвалась в палату и агрессивно пошла в наступление на новенькую:

– Не распускай руки, сказала! Мне одно слово замолвить Рафику, и он сотрет тебя в порошок! Знай, с кем!..

Шабункова на удивление спокойно посмотрела на Анжелу и так же спокойно поинтересовалась:

– А что... а что случилось, красавица?

– Ничего!

– Тогда проходи, садись. Ты тоже мне будешь нужна.

Анжела шмыгнула носом и молча села на табуретку, приставленную к ее кровати. Шабункова посмотрела на нее, переспросила:

– Значит, говоришь, доктор хороший и внимательный?

– Ну, я так и сказала, – Анжела кашлянула в кулачок.

– А мы сделаем так, что он будет еще более хорошим и внимательным, – Шабункова окинула взглядом присутствующих. – Да, мои подруженьки?

– С какого это времени? – хмыкнула Валентина.

– Внимание! Вопросы задаю я! Нас сколько человек в палате? Правильно: пятеро. Если по сорок тысяч сбросимся, получается двести тысяч. Ого! Неплохой презент, скажу я вам. Порадуем Сергея Ромуальдовича, а, женщины? Вижу, вы не против. Конечно, что теперь те сорок тысяч для одного человека, а вот когда двести для одного – это, засвидетельствую, уже

ничто. С кого начнем? Пускаю шапку по кругу. Что это я – с кого начнем? Конечно, с меня. Сказал «а», говори и «б». – Она взяла из сумочки деньги, отсчитала необходимую сумму и, держа две бумажки по двадцать тысяч рублей на вытянутой ладони, поднесла руку к Петровне.

Петровна, к удивлению остальных, потянулась за кошельком. То же самое сделала и Валентина. Хотя и не сразу, немного поколебавшись, Анжела отказалась:

– Мне на сигареты надо.

Шабункова посмотрела оценивающим взглядом на ее старые и черные от грязи, когда-то желтые сланцы, согласно кивнула:

– Все понятно. Ну, а ты, бабушка?

Стефановна сделала вид, что она вообще не понимает, чего от нее хотят.

– А? Что? – разинула она широко рот.

– Гони денюжку, бабушка! – в самое ухо громко прокричала Шабункова. – Для тебя же стараюсь. Подсластить жизнь надо. Нашу палату доктор будет спать и видеть во сне. Она у него будет на первом плане. Ну, смелее, смелее, бабуся!

Бабушке ничего не оставалось, как подчиниться: она подала этой настырной женщине все деньги с кошельком:

– Возьми сама, сколько надо. А зачем? Я не пью.

– И никто не пьет.

– Доехать оставь только, а то пешком не дойду – богато километров до наших Брусов.

Шабункова запустила руку в кошелек Стефановны, вытянула довольно толстый пук госзнаков, оценила:

– Ого! Да с такими деньгами можно и не тут лечиться! Хорошо, хорошо, бабушка, не смотри так на меня: лишнего с тебя не возьму. Нам чужого не надо. Тут хотя бы свое не потерять.

Анжела вышла. Вслед за ней подалась вскоре и новенькая. Тыкнув вверх пальцем и подмигнув женщинам, она, прежде чем оставить палату, торжественно и многообещающе произнесла:

– Все будет в ажуре, граждане!

И только теперь, когда захлопнулась на Шабунковой дверь, Петровна и Валентина, почти одновременно пожав плечами и разведя руками, переглянулись. Слово после временного оцепенения, женщины засудачили.

– Ой, что это с нами? Не гипноз ли это был? – первой хватилась Петровна. – Зачем мы ей отдали деньги? Странно все это как-то.

– Действительно, – свесив ноги с кровати, сказала Валентина. – Хорошо, если отдаст доктору. А если нет?..

– Пойди проверь...

– Может, аферистка?

– А что? Заберет деньги – и концы в воду.

– Да и если даже отдаст деньги доктору, то от кого – от себя? От нас?

– Что-то не то мы сделали... – совсем, казалось, пропало настроение у Петровны. – Обула она нас, обула, бабы-девки. А ты что, Стефановна, скажешь?

– А? Что?

Петровна махнула на старушку рукой: ай, сиди уже!

Наконец угнетающее молчание прервала Валентина:

– Кажется, я знаю ее, эту Шабункову. Да, да. Только она была раньше Танькой Степанцовой. Убедена. Точно, она! Мы же в одной школе учились. Она на год старше меня шла. Почему запомнилась? Она бегала из класса в класс и по две копейки с каждого комсомольца взносы требовала. Да, да: эта она, Степанцова Таня. Мы ее выскочкой звали. Она хотела быть секретарем школьной комсомольской организации, сама, помню, просилась: я не подведу,

доверьте! А когда ей отказали, она тогда слезно попросила: «Разрешите хоть мне взносы собирать?» Собирай, беды той.

Как сложилась ее судьба дальше, Валентина не знала.

Вернулась Шабункова не одна – с доктором. Она суетилась-летала перед ним, как мотылек перед яркой лампочкой. Но что удивило женщин, Сергей Ромуальдович начал обход не с нее – с Петровны и даже всячески сторонился Шабунковой. Что усложняло ситуацию. Каждая из больных думала, видать, об одном – отдала все же эта сборщица комсомольских взносов деньги ему или нет? Да и большими оригиналками они посчитали себя: деньги, если уж так и хотелось им задобрить Сергея Ромуальдовича, можно было вручить и сейчас... в палате. Только надо ли вообще было это делать? Ну, не дуры ли мы?!

У Петровны и Валентины, что и говорить, настроение было удручающее. Анжела была сама по себе. Только одна Стефановна жевала что-то и думала, скорее всего, про своего деда, которому тяжело в деревне одному.

И когда в палате появился, словно привидение, ее сгорбленный старик, с тросточкой и торбочкой, все женщины забыли, казалось, что идет обход и перед доктором дефилирует эта выскочка Шабункова.

Они смотрели на Стефановну и ее деда, и лица их светились такой нежностью и лаской, словно ничего более важного сегодня не произошло во всем белом свете...

Колька, курица и бабка Антося

Как раз в центральную дорогу этой деревеньки упирается одной стеной сарай, и, когда в сухмень перетирают и без того перетертый песок колеса грузовиков и легковушек, пыль залетает на крышу чуть ли не облаком, и теперь ее там – хоть метлой смахивай. Только когда барабанят-секут по крыше дожди – они для нее, вроде бани для бородатого мельника – отмывается солома, но не настолько, чтобы золотиться ей.

Теперь лето, жаркое, сухое. Колька сидит недалеко от сарая на скамейке, под кустом жасмина, вперив голову в какую-то книгу, иногда кривит губы, дергает ими, притопывает ногой. Он – студент-заочник. Идет учеба!

Проехала одна машина, вторая – как же ему, Кольке, не обратить на них внимание: кто это за рулем сидит, что или кого повез? На этой скамейке, правду говоря, он больше втягивает ртом и носом пыль, чем читает. Можно облюбовать место для учебы хотя бы на огороде в тени деревьев, если охота на свежем воздухе сидеть, но можно другим, только не Кольке. Должен возвращаться из грибов учитель Сергей Кириллович, и надо не проморгать его, ведь тот пообещал помочь. «Лучше пересидеть, чем не досидеть», – решает Колька и топ-гоп подошвой сандалета по земле, ведь так, видать, ему лучше читается.

«Где тот Кириллович? Нету». Колька опять вперил глаза в книгу, перед ними суетятся какие-то замысловатые схемы, формулы, они для него – что игра в шахматы: как и куда двигают те фигуры гроссмейстеры – им одним известно. Пытался научиться играть в шахматы и Колька, но передумал: очень тяжелая наука, ну ее! Вот шашки – то ли дело, не говоря уже про домино. Кто ж считать в наш век до сотни не умеет? А грохнуть костяшкой по столу для Кольки ничего не значит, силы в руках хватает.

Кольку отрывает от науки бабка Антося:

– Студент, ходи сюда!

«Вишь, студент...» Он гордится этим словом, которое хотя накрепко и не пристало еще к нему, однако что-то да значит. Звучит. Но Колька не спешит к бабке. Сперва важно посмотрел на старуху, на дорогу, на которой должен же когда-нибудь показаться учитель, потянулся.

– Тебе уши никак заложило? – повышает голос бабка Антося.

– Я же тебе сказал: я из города не для того ехал, чтобы завалить учебу! – ворчит внук, но зачем ворчит – и сам не знает, где-то в душе все же радуется, что можно отложить книгу в сторону, заняться тем, что легко и для его рук, и для его головы. – То коси, то дров внеси, то за водой сходи. Поеду в общежитие!

– Тебе уже учиться не надо, бросай науку, – не то чтобы очень, но все же злится бабка Антося. – Лодырю можно и так прожить, без техникума.

– Ну что там у тебя? – Колька наконец откладывает книгу, ставит на нее маленький радиоприемник, чтобы не закрыл ветер страницу и не забыть, где читал и о чем. – Куда это ты лестницу волочишь?

– Подержи-ка, внук, ее, а то можно соскользнуть – костей не соберешь, – бабка Антося тем временем, приткнув лестницу к стене сарая, поставила босую ногу на первую приступку. – Полезу на небо, там, говорят, печь из масла сделана.

– Ну, лезь, – безразлично говорит Колька, а сам держит лестницу. – Она же и так прочно стоит – не сдвинется. Как прибита гвоздями...

– Подстрахуй на всякий случай, – пугается старуха, припав к лестнице щекой, смотрит на внука: держит ли, молокосос. – Во, во, так и держи, Колька. Умереть не страшно – жить хочется. А я лезу, лезу... Держишь?

Колька держит, не тяжело, а сам думает: «Оригиналка! Я лезу на чердак, отец лезет – никто не держит. А она, видите ли, боится, хотя и прожила свои годы. Старикам, видать, очень

жить сегодня хочется. Сегодня и завтра. Кто же из нас, молодых, про свой конец думает? Живем – и все... рано еще думать. А они думают. У них – близко... Вот в дорогу собираешься – и не спится, и думается. А город возьми. Смешно смотреть, как бабки эти улицу перебегают, хотя и горит зеленый свет. Так чешут, что не грузовик их, а они его скорей снести могут». И Колька впервые за свою жизнь подумал: «А, может, потому, что жизнь теперь выстроилась, на рельсы стала, оттуда и жажда у стариков к белому свету? Хотя бы вот его бабка Антося. Что она видела на своем веку? Войну... Похоронку... Голод... Холод... А сейчас – жизнь! Убегает, правда, она от стариков, так и метит навсегда ускользнуть, однако же и они понимают это, поэтому и держатся за нее двумя руками...»

Бабки Антоси уже нет на лестнице, где-то на чердаке лазит, только слышно, как шуршит сено, а Колька все равно держит лестницу. Ему кажется, что бабка все еще лезет, и внуку очень захотелось, чтобы она жила и жила. Вечно. Вот закончит он техникум, станет, может, даже и большим начальником, а там, глядишь, по телевизору покажут. Пусть порадует бабка Антося. А когда не будет ее, кто заметит и Колькин диплом, и тот не построенный пока еще чудо-дом? Пусть живет бабка. Долго. Очень долго.

Колька растрогался, повлажнели глаза, но рук не отрывает от лестницы – пальцы лежат на ней вроссыпь, намертво лежат, словно примерзли, и он думает-рассуждает про жизнь. Ну, спросите, почему он хотя бы в ту науку полез? Все же знают в деревне, как учился в школе. Через тройку – двойка. Когда четверку имел – одноклассники ляпали по плечу, пожимали руку: молодец! Но такое случалось редко. Нет, лучше не вспоминать. Грустно становится. Неловко. И за себя, и за учителей. Хотя последним он «таблетку» и подбросил – сдал экзамены в техникум. Как сдавал – припомнить тяжело, будто бы уснул на скамейке под своим жасмином, а его толкнули под ребро: вставай, приехали. Приехали, так приехали. Тыр-р-р!

Работает Колька на стройке каменщиком, и хорошо работает, даже премии там разные не забывают выписывать ему, благодарность объявить. «Ты заслужил, Николай Степанович. Побольше бы нам таких трудолюбивых людей». Но все учатся. Зацепило это и Кольку. Ему также захотелось. «Не хуже других». Об одном только забыл Колька: когда все хорошо учились – тогда ему не хотелось. А теперь вот сиди на скамейке. Подстерегай учителя.

– Ну где ты, баба? – задирает голову вверх Колька. – Наелась масла?

– Да лезу, лезу, – вылетает Антосин голос, а потом показывается и сама. – Где же она, нечистая, несется? Все закутки перебрала руками, а хотя бы одно яйцо. Так что же это выходит, люди мои хорошие? Я кормить ее должна до осени, а она ни одного яйца мне?! Фигушки! Не-е-ет, Антосю ты не перехитришь! Перья из тебя полетят! Сегодня же! – Антося высунулась задницей из дверки, не сразу нащупав ногой лестницу, поставила на нее потрескавшуюся пятку. – Держишь, внук?

– Держу.

– Держи же! Лезу... лезу на землю.

– Зачем ты ее спускаешь, Колька? – незаметно подошла соседка Лидка, почти ровесница Антоси. – Пусть там и зимует. Буханку хлеба ей подай – ничего, пересидит.

– Ты, молодница, внука моего не знаешь: он бабу свою ценит, – нисколько не обижается на шутку соседки Антося, скорее напротив: самый момент, думает старуха, раз зацепила ты, Лидка, языком своим Кольку, про него хорошее слово вставить. И она вставляет, как только нога нащупала землю: – Все, слезла. Внук мой – ты слышишь, Лидка? – разумный. Лишь бы кого в техникум не возьмут...

– Допустили Кольку в техникум? – удивляется Лидка.

– Взяли, взяли, девка, – охотно ответила Антося.

– Что делается, люди! – всплеснула руками Лидка. – А у нас же, чуть собрание какое родительское, все, помню, клевали его. Он и такой, и этакий. Неуч. Совсем не признавали человека, а он – на тебе! – в техникум внедрился... На второй год все, помню, оставляли...

Другая бы бабка на месте Антоси начала укорять учителей, что те не смогли дать знаний Кольке, а вот она сказала соседке на удивление спокойно и рассудительно:

– Взятся за ум, девка. Город научил жить.

Старухи галдят у сарая, а Колька опять садится на скамейку, берет в руки книгу, изредка косит глазом в ту сторону, откуда должен показаться учитель. Когда он еще был так нужен ему? Не видать Сергея Кирилловича. Может, грибов собрал столько, что не донести? «Эх, – думает Колька, – прошляпил! Надо было бы с ним в лес пойти. А чего? Это ход. А так чем отблагодарить его за ту консультацию? Грибочки – самый раз. От них Сергей Кириллович не отказался бы. Когда это было, как на ту экскурсию ходили они всем классом, а помнится. Столько белых грибов, подберезовиков и подосиновиков насобирали учителю, что тот возвращался из лесу в деревню в одной майке – полная рубашка была набита лесными дарами. Вот и теперь забежать бы вперед Сергею Кирилловичу, срезать грибы и в кошелку, в кошелку, а потом – пожалуйста, уважаемый учитель! Держите! Не смекнул, промахнулся. Смотришь, и консультация прошла бы на самом высоком уровне. А так чем отблагодаришь? Чем? Разве же Сергею Кирилловичу охота просто так ломать голову, да еще и летом, когда она у него на отдыхе».

Колька смотрел в книгу, а сам думал: «Чем же?.. А может, и совсем он не возьмется бесплатно консультировать? Теперь, говорят, не то время, чтобы все задаром. В городе вон объявление в газете вычитал: даю консультации... Не за красивые же глаза дает. Плати, значит». И второе волновало студента-заочника: «А что, если мораль читать начнет? Не захотел, скажет, учиться, когда все учились, еще и нервов сколько мне попортил, а теперь – приперся, спасай, Сергей Кириллович. Удобно ли? А?»

Рассуждая так, Колька не сразу заметил, как перед ним вырос в полный рост Кукуруза. Валику Ярмольчику, бывшему однокласснику – не в пятом ли они учились вместе? – такое прозвище приклеили за длинный рост и рыжую лохматую голову.

– Все учишь? – сморщил лоб Валик.

– Учю.

– Не узнаю тебя, Колька. Когда все женятся – ты учишься. Чудак!

– Да вот... решился, – пожимает плечами Колька. – А почему и нет? Не все же мне в каменщиках ходить. Походил – хватит.

– Управлять будешь после? В начальники метишь? – Валик не без иронии в голосе подсаживается к Кольке, взяв книгу, листает. – Ого! Да тут и формулы! Заблудиться можно. Неужели разбираешься?

Колька отрицательно крутит головой.

– А как же экзамен сдашь? – опять морщит лоб Валик.

– И сам не знаю, – искренне признается студент-заочник, – но другие же как-то сдают.

– Смотри, смотри. А то, может, на речку махнем, а?

– Не могу. Иди один. Кирилловича караулю. Обещал консультацию дать. Только вот не знаю, чем и как с ним рассчитаться. Все же работа это.

– Работа! – вскинул голову Валик. – Сколько у нас этих заочников, а он только такой хорошенький. Ты вон к Костючихе подступишь. Сразу отмахнется. А чем отблагодарить тебе? – он также задумывается. – А знаешь... Ты же не школьник. Взрослый. Беги в магазин, возьми что надо... деньги, говоришь сам, хорошие зарабатываешь – более даже, чем сам Кириллович, а после консультации... так сказать... А? – Валик щелкнул по горлу.

Повисло молчание.

– А может, он не пьет? – настороженно смотрит на товарища Колька, а по глазам же видно, что подсказка ему понравилась.

– Теперь пьет. Это когда директором школы работал – держался для авторитета, как только сняли, то и начал понемногу нюхать. Не веришь?

Колька молчит.

– Да я тебе – хочешь? – на пальцах пересчитаю заочников, которые ходили к Кирилловичу? – висит над Колькой рыжая лохматая голова дружка. – Что, задаром? Так себе? Ага, лови ласточку!

«Разве действительно пойти в магазин? Пойду...»

Бутылку водки студент-заочник Колька нес к учителю в полиэтиленовом пакетике, на котором было написано: «Вы нам поверьте – вкусен суп в конверте». А может, что другое. Не по-нашему написано, да и что Кольке до того писания! К холодному боку бутылки прижались два учебника.

... С этим пакетиком вскоре и вышел он от учителя. Нет, не вышел – вылетел, словно воробей из скворечника, и быстрым шагом, не оглядываясь, направился к сараю, сиганул без лестницы на чердак, зашил в сено и лежал там, пока не стемнело.

Назавтра утречком, первым рейсом, Колька уехал в город. Кто знает, может, искать ту газету с объявлением, где, как сам вычитал, какой-то дядька напрашивается давать консультации...

А в деревне шла своя жизнь. Сергей Кириллович ежедневно ходил в лес по грибы – уродили, не обходить же. Бабка Антося непутевую курицу не загубила, хотя и клялась, а только искала гнездо, и на чердаке также – лазила туда обычно в конце дня, а лестницу поддерживала Лидка. Однажды она спустилась на землю не с яйцами, а с бутылкой водки, удивилась: чья бы?

– Вот это курица у тебя, Антося! – смеялась до слез Лидка. – Что несет, холера, вместо яичек! А ты хотела уже ее порешить. Продай мне!

Посмеялись старухи, порадовались находке, поразмышляли, как бутылка могла оказаться на чердаке, да и разошлись в полной неясности. А водку вернула, говорят, Антося в магазин. Деньги положила в сундучок: «На хлеб и сахар. Спасибо тому человеку, который позаботился...»

На Кольку она не подумала.

Перекур

Во дворе было студено. Неистово бесился ветер, невидимыми горстями швырял, делая лихие завихрения на разворотах, в лица людей обжигающую снежную шрапнель, барабанил по оконным стеклам, словно завидовал, что там, в доме, веселятся люди, пьют-едят, а ему, видите ли, ноль внимания. Получайте. Возьмите. И когда в очередной раз выбрались из-за стола мужчины, чтобы перекурить, то долго на подворье не задержались, хотя и были разогретые после выпитого: холодище нешуточное. Тогда они сбились в тугой ком в сенях-катушке. Не повернуться. Зато тепло. Тут и новогодняя ёлка стояла до определенного времени. Самая настоящая – с игрушками. Чтобы ее не потревожили, тем более не побили по неосторожности игрушки, кто-то из мужчин и вовсе вынес лесную красавицу во двор, аккуратно воткнув в сугроб. С Новым годом!

До Нового года было еще несколько дней, и Шурмелевы решили успеть справиться для своей дочки Наташи свадьбу, ведь Новый год – праздник семейный, и ладить свадьбу, тем более приглашать людей в последний день декабря, посчитали, как-то неудобно, тот или иной может даже и отказаться, найдет причину, а хотелось бы, чтобы пришли многие кто из родни, да и просто из тех земляков, с которыми они в дружбе или в обычных приятельских отношениях. Свадьба же! Да и дочка у Шурмелевых одна. Так что надо провести это торжественное мероприятие по «высшему классу», как сказал сам отец невесты колхозный механизатор Егор Степанович.

Накурили в сенях – хоть топор вешай. Шурмелиха едва продралась в кладовку за очередной закуской, помахала перед носом ладонями, фыркнула – ведь не продохнуть – и покосилась на курильщики, но зла не держала: праздник ведь, сегодня все позволено. А сама, видать, подумала: «Оно и правда – перекур есть перекур, на холод людей не выгонишь. Пусть уж дымят!..»

Шершень, звонецкий примак, шупленький мужичонка с тоненьким писклявым голоском, как это и случалось, почитай, на каждой гулянке, рассказывал про Колыму, где ему выпало пожить в молодые годы. Он, может, и не стал бы опять возвращаться воспоминаниями туда, в ту непроходимую тайгу, но вместе со всеми вышел перекурить и важный гость – директор известного предприятия, о котором нередко говорят по радио, а, бывает, покажут и по телевизору, – брат Егора Степановича, и потому, граждане, расступитесь: он еще не слышал, а вы, коль и знаете про мою Колыму, то стерпите. Не большие начальники перед гостем из города.

– Если бы умел писать, я бы книжку создал, – вкусно затянулся Шершень, выпустив облако густого дыма. – Про свою биографию... Ей-богу, и говорить нечего: соорудил бы! Как есть! Столько фактов!.. Слушайте, землячки, и знайте, забодай его комар: после того, как нас привезли по комсомольской путевке, значит... а в райкоме комсомола мне ее сам первый секретарь вручал... хвалиться не буду, потому как не имею привычки, фамилии не запомнил... Во, кажется, Усов или Ушев... одно из двух... А куда нас привезли? Подумать только – на Колыму! На Колыму, забодай тебя комар!.. Разве ж я, Иван Шершень, который дальше райцентра к тому времени носа не показывал, мог поверить, что мне предоставят такую возможность – белый свет повидать? А то ж! Хоть на полную грудь вдыхай тот простор! – Он посмотрел на гостя из города, подал руку. – Я тут в примах, получается... Иван.

Гость назвался Николаем Степановичем.

– Очень приятно. А у меня же в кармане путевка...

Те из мужчин, которые раньше уже слушали Шершня, отходили чуток в сторонку, иные и вовсе возвращались в дом, где пела и плясала свадьба, а Иван продолжал:

– Поселили в щитовой домик, дали валенки, козух... Зима же аккурат!.. Ого там зима!.. У нас это вон на дворе – Крым, чистой воды Крым по сравнению!.. Меня уговаривают, тем

временем, в бригады. Я сперва отказывался, сопротивлялся – где там! «Да что я могу?» А начальник, сам татарин, Мансуров, и заявляет: научишься, парень ты, вижу, ушлый, овладеешь процессом. Ни в какую, одним словом! И слушать не хотят! Белорус? Белорус! Кто ж, если не белорус, будет бригадирить, а? Руки, правда, у меня росли оттуда, откуда и надо. Сызмальства. Хвалиться не стану. Я и тут, в колхозе, на ферме телятником сегодня фору любому дам!.. А тогда-а – и подавно!..

Кто-то из мужчин выглянул в сени, пригласил к столу.

– Николай Степанович, значит? – придержал того за рукав Шершень.

– Да, да.

– Будет следующий перекур, я доведу свою логику про Колыму до конца. Дай пять!..

Николай Степанович покорно согласился с таким предложением – подал руку.

Очередной перекур не заставил долго ждать. Язык у Ивана заметно потяжелел.

– На чем это я остановился? Ага! Я, значит, там старшим был... Кровать мне показали внизу, остальным – кому где. Закон такой: если ты старший, у тебя преимущество во всем... И даже в столовой. Кормили, правда, хорошо. Не то, что на соседней зоне... Ну, лес же валили!.. Не пустые щи голенищем от чеботов хлебали, забодай его комар!.. А братки подобрались – ну, хоть куда!..

Когда Шершень произнес слово «зона», Николай Степанович сделал вид, что он ничего такого, что резануло бы его слух, вроде и не услышал, хотя и догадался, конечно же, по какой комсомольской путевке ездил на ту Колыму этот непосредственный, по всему видать, человек.

А Шершень продолжал:

– А там мне встретился земляк, капитан, он из Канавы, Канаву вы знаете. Над всеми наблюдателями главный. Что меня и спасло. Это у него, ага, спрашивают, – Иван залился звонким и задорным смехом. – Ты где родился, товарищ капитан? А он, послушай только, Степанович, отвечает: в Канаве. Звучит, а? Забодай его комар!.. Тогда из леса земляк и перевел меня печки палить. Дело знакомое! Дрова, правда, врать не буду, большей частью сырые были... ты их и так, и этак, а они шипят, коптят... Дрянь в тайге дрова, тьфу!.. Вот наши!.. Тебе, может, интересно, как попал я туда, в ту проклятую зону, гори она гаром?

– От сумы, говорят, и от тюрьмы... – Николай Степанович хотел чуть подсластить этому щупленькому Ивану.

– Не зарекайся. Правильно. Дай пять!..

– Да жена первая, язва еще та, запёрла! Хочешь знать, за что?

– Нет.

– Иди ты! – насторожился Шершень. – Первый раз встречаю такого человека, который не хочет знать!.. Обычно все хотят. Одним словом, пошли с тобой выпьем, Николай Степанович. Николай? Правильно?

– Николай. Правильно.

– У меня еще память – уго! Всем памятям память! А на что мне ее было, собственно говоря, тратить? Книжек не читаю. Газет также... Не умею. Не способный. Но одно тебе скажу, и это без всякого вранья: телевизор смотрю как положено, пока не усну. Так что в курсе многих дел. Хороших и плохих. Слышал, что в Эстонии с моим тезкой в этом году сотворили?

Николай Степанович догадался, что хочет сказать собеседник, хотя и удивился: а почему – тезка? Хотя что ж тут непонятного – коль памятник солдату, значит, обязательно Ивану? Ну, пусть будет и так. Поэтому, чтобы не усложнять разговор, ответил:

– Слышал.

– Еще бы! А Львов что выделяет? А Польша? А в той Польше, между прочим, где-то мой отец лежит... там зарыт... Если бы он жил, я бы, может, и показал бы фигу Колыме!.. На!.. На!.. На!.. А мне так и хочется иногда в тот телевизор крикнуть: а что, если еще какая мать лишится ума и родит еще одного Гитлера... Адольфа, забодай его комар!.. Эх, посмотрел

бы я тогда, как бы он их поочередно всех к рукам прибрал... Что бы они без меня, без Ивана, сделали? Как бы отбились? Кто бы заступился за них, если бы не Ивановы? Мы же всех их собой запахнули!.. А теперь, видите ли, еще рты раскрывают!.. Сегодня я бы на их защиту не пошел!.. Перед своим домом руки бы растопырил: не дам, мое!.. А там сами разбирайтесь, если такие умники!.. Пустят меня в телевизор, как думаешь, Николай Степанович? У тебя там связей нет случаем? Я бы сказал все это, а может еще и похлеще, что и тебе, – всему миру!.. Так бы шандарахнул, забодай его комар!.. Пусть слышат!.. На всех континентах и полушариях!..

Николай Степанович ничего не успел ответить. В сенях появилась жена Шершня, она ловко подхватила его под руку и оторвала от политики одним словом: «Перекур!» И повела мужа не туда, где продолжалось застолье, а домой. На прощание Шершень намеревался еще что-то сказать своему внимательному слушателю, но жена прикрыла ему рот ладошкой:

– Я тебе покажу Гитлера, холера такая!.. Я тебе!..

Очередной перекур без писклявого Шершнева голоса не имел уже такого эффекта, более был похож на обычную деревенскую беседу. Без Ивана стало грустно и Николаю Степановичу. Мужчины, которые выпили немножко более, чем надо, пытались закурить даже прямо за столами, оттуда их гнали во двор, и мало кто из них задерживался в сенях. Разогрелись. Вот теперь разогрелись! Прочь, ветер, с дороги! Привет, ёлочка!..

Однако и в сенях все же толпились мужчины – на этот раз почти одни некурящие. У тех перекур имел другое значение – надо дать отдохнуть телу, ведь не так просто сидеть за столом весь вечер. Галдели. Федор Хацков вспомнил, как служил в армии на Кавказе. Хвалил Кавказ. Хорошо там, говорил. Мишка Терешенок рассказывал, что как-то к нему приезжал зять, и встречу ту они хорошо отметили. И вроде бы оставили на утро бутылку водки. А проснулись – нету. Куда подевалась? Кто бы мог спрятать? Ты, жена? А жена, тетка острая на язык, за словом в карман не полезла, нашлась быстро:

– Где это вы видели собаку с колбасой на шее? Спрятать они захотели. А более глупого ничего придумать не могли – что отец, что зять?

Посмеялись. У Мити Буханова – свое:

– Про косилку свою вспомнил... Новенькую купил же. Около двора на ночь оставил. Утром дочка спрашивает: «Папа, а где твоя косилка?» Как – где? Стоит. «Нет, там ее нет». Смотрю: правда, нет. Украли. Наши не могли, конечно. Не спрячешь. Объехал все окружающие деревни. Четыре года искал. Нашел! Мужики, кому нужна косилка? Бесплатно отдам. Пока нашел, все свои силы истратил, видимо... Да и жизнь за это время другой стала. Изменилась заметно. Корову же не держу. Знаете. Сам сено не ем. Может, и не надо было искать? Пусть бы парни те косили себе и людям на здоровье. Хотя – нет: за вред, за любой вред все равно надо по рукам бить...

Откуда-то взялся Иван Шершень. Тут как тут.

– А я уже выспался! – тер он глаза дрожащими пальцами. – А моя дрыхнет. Сопит в две дырочки. Глянул на часы: ого, мне же на ферму скоро!.. А в голове, сами понимаете... Так вы что, все еще тут?

– А где нам быть? – повернулся лицом к Шершню Федор Хацков. – Свадьба же!..

Шершень согласился:

– И я своей говорю: свадьба же, а ты меня уволокла отсюда. Как же, говорю, там одни мужики без меня будут? «Спи!» Слышали? Это мне: спи! А я, может, не хочу. Бессонница у меня. Но ты ей поди докажи! – он повертел головой по сторонам. – Так что, и Николая Степановича, брата Егора, уже нету?

– Почему же, тут он, – кивнул на входные двери Митя Буханов. – В доме.

– В доме? В доме – не считается. Ишь, спрятался! А почему не там, где все? Непорядок! Перекур – он для всех перекур! Я правильно говорю, мужики?

Шершню никто не ответил, тогда он потянул двери на себя и исчез в доме.

– А, так вот ты где, Николай Степанович! – широкая добродушная улыбка появилась на лице Шершня. – А для меня уже новый день начался. Где бы тут чего тяпнуть, а то голова тяжеловата?.. Мне же теляток кормить скоро... Должен быть, как штык!.. – Иван наполнил первую чарку, что попалась под руку, водкой, задержал взгляд на собеседнике. – Так что, забоддай его комар, выпьем, так сказать? За компанию? А?

– Нет, спасибо. Я уже и так, чувствую, много выпил.

– То вчера было. Да? Да. А сегодня еще не пил. Что было, то уплыло. Где твой шкалик, Николай Степанович? Да и как же дядя не выпьет за любимую племянницу, которая, вишь ты на нее, не кого-нибудь, а инженера сельского производства прибрала к рукам, приютила, так сказать. Человека солидного. Я же ее, сопливую, вот такой-то помню, – Шершень держал в одной руке чарку, а пальцы второй растопырил над полом, даже чуть наклонился, чтобы быть более достоверным. – Такой была... Вовремя я тут, у вас, оказался – чуть не проспал было мероприятие. Ну, со своей мымрой... сам же знаешь... Я разве не рассказывал вчера?

– Рассказывали. Много чего рассказывали.

– И про комсомольскую путевку?

– Ну, это конечно... в первую очередь... и с таким энтузиазмом рассказывали, что и мне захотелось туда, на Колыму.

– Сегодня не пустят. Не-а. Другая страна. Не пустят. А жаль. Комсомол был в почете. Так что, за племянницу не выпьешь?

Николай Степанович подставил чарку, Шершень наполнил ее и сказал:

– Теперь я вижу, что ты свой человек. Наш. Ну, пусть будет все хорошо.

И осушил посуду. То же самое, чуть помедлив, сделал и Николай Степанович.

– Теперь можно и перекурить...

– Вы закусите, – посоветовал Ивану Николай Степанович.

– А папироса – что, не закуска? Еще какая! Ого закуска! – и начал выбираться из-за стола. – Пошли, пошли, Степанович. Я же альбом принес. Покажу Колыму. Свой ты человек, вижу, тогда почему ж не показать. Вот он, альбом, тут... В коленкоровом переплете... При мне. Или, может, еще по одной?.. Чтобы лишний раз штаны не рвать о скамью, а, Степанович?

– Накормите телят, дядя Иван, а тогда и выпьем. Договорились?

Шершень задержал на бутылке с водкой долгий взгляд, передернув кадыком, согласился:

– Разумный человек дурного не посоветует. Правильно: сперва телят, а тогда можно будет... Тут или где глянем карточки? Тут света побольше.

– Можно и тут.

– Принимается! Держи пять!..

Шершень достал из-под ремня маленький альбомчик, который был перехвачен белой резинкой, развернул, полистал... потом еще полистал, на этот раз быстро... А тогда поднял альбом над собой, потряс – из него ничего не выпало. Альбом был без карточек. Посмотрел на Николая Степановича.

– Были же!.. Вчера листал!.. Были же!.. Ну, Татьяна, ну, подожди! – и на его глазах, что еще больше поразило гостя из города, показались слезы. – Так подвести!.. Всю мою Колыму вытрясла из альбома!.. До единой карточки!.. А я же там и с начальником в обнимку стою – с тем, что из Канавы!.. И печки на фотках были, что топил!.. И дрова!.. И много чего было на тех фотографиях, забоддай ее комар! Хотел тебе, Николай Степанович, показать... похвастаться биографией... Не получилось. И все потому, что не везет мне на баб. Одна запёрла туда, а вторая и знать не хочет!..

Николай Степанович положил руку на плечо Шершня, а сам, пристально посмотрев в его влажные глаза, не сразу проговорил:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.